

РОМАНТИЧЕСКОЕ ФЭНТЕЗИ

ПАМЯТЬ ДЛЯ ВЕЛЬГОРА



СЕРГЕЙ ТИМИН

Город забыл его. Она - нет.

Сергей Тимин

Память для Вельгора

«Автор»

2026

Тимин С.

Память для Вельгора / С. Тимин — «Автор», 2026

В городе Вельгоре каждому при рождении заводят именной свиток в Архиве. По приговору Тёмной думы свиток можно погасить - и город забудет человека, будто его и не было. Младшая хранительница Ярина находит тёплый пустой свиток и встречает того, кого не видит никто: писаря Радима, стёртого из памяти города за лишние вопросы. Чтобы вернуть ему имя, Ярина будет платить воспоминаниями - единственной валютой, которая у неё есть. А над рекой тем временем собирается голодный туман, и до Молчального дня остаётся всё меньше времени.

© Тимин С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Воск и полынь	5
Глава 2. Тот, кого нет	8
Глава 3. Молчальная пора	11
Глава 4. Тридцать девять имён	14
Глава 5. Уроки старшей	17
Глава 6. Первая буква	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Сергей Тимин

Память для Вельгора

Глава 1. Воск и полынь

В Архиве пахло воском, полынью и ещё чуть-чуть - мышами. Третий запах я никак не могла изгнать, сколько ни клала по углам пучки сушёной травы. Мыши жили где-то под полом, в щелях между фундаментными камнями, и, честно говоря, были единственными посетителями, которые приходили ко мне после заката без очереди.

Я сидела за длинным столом у окна, подтянув под себя ноги, и нанизывала на медную иглу восковые кольца. Колец было много - перед Молчальным днём в город всегда приходило больше заказов: кто-то хочет вписать в свой свиток рождение внука, кто-то - новую печь в доме, кто-то - просто доброе слово о покойном соседе. В Вельгоре верили: пока твоя строка в свитке жива и свежа, жива и твоя память.

Чайник с чабрецом остыл у меня на углях уже давно. Я налила себе кружку, сделала глоток и поморщилась - остывший чабрец горчит, как полынь. За окном Тёплой башни шумел ночной Вельгор: где-то скрипела телега, где-то ругались грузчики с Соляного ряда, и над всем этим висел туман с Тихавы - плотный, молочный, тихий, будто город накрыли мокрым одеялом.

Меня зовут Ярина. Мне двадцать шесть лет, и я младшая хранительница Архива при Тёплой башне. Если вы не из Вельгора, объясню, что это значит. Каждому жителю города - от боярского сына до последнего лотошника - при рождении заводят именной свиток. В свиток оседает всё, что город о человеке помнит: рождение, венчание, долги, ссоры, добрые дела. Свиток лежит в гильзе, гильза лежит на полке, полка стоит в хранилище, и порядок этот старше самих стен.

Погасить свиток может только Тёмная дума, и только по приговору. Погашенный свиток закрывают в чёрный футляр - и город забывает человека. Не «плохо помнит», а именно забывает: жена проходит мимо мужа, мать не узнаёт сына, соседи переселяют в свою память кого-то другого. Погашенных называют пустыми. Мне, как хранительнице, положено кивать при слове «приговор» и не задавать вопросов. Старшая хранительница Мелания Онисимовна учит нас с первой недели: «Свиток - не совесть. Храни, а не суди».

За семь лет в Архиве я выучила наизусть, сколько ступеней от моей комнаты до читальни (сорок две), сколько гильз на полке «Г-В» (триста восемнадцать) и как пахнет воск, когда он свежий, а когда старый. Свежий пахнет мёдом. Старый - погребом.

Перед Молчальным днём Архив жил на ногах. К нам приходили всем городом: наносили прошений, как сена на зиму, и весь месяц я прописывала, печатала, сушила воск. Странное дело - чем ближе был день тишины, тем больше люди хотели говорить. Мужик с Мельничного спуска принёс прошение вписать в свиток покойного деда «со стороны характера, а не только годы». Ткачиха с Богородицкой просила добавить, что её свекровь «пела так, что куры неслись через двор». Я всё вписывала, и в свитках прибавлялось живого, шумного, не вписывающегося в казённый стиль. Архив на месяц превращался из погреба в базар. Мне это нравилось. Тревожило только одно: в этом году прошений пришло вдвое больше обычного, будто город на что-то решался и торопился успеть наговориться.

Про пустых у нас рассказывали всякое, и всякое - страшное. Моя бабка говорила: увидишь на улице человека, а тебя к нему не тянет, как к брѣвну, - не останавливайся, не гляди ему в лицо, отыщи крест или колодец. В нашей семье в это верили настолько, что мама, водившая меня через мост в школу, всегда бормотала в тумане: «Наши, наши, все тут наши». Я выросла, выучилась и решила, что это суеверие часовщиков и рыбаков. В уставе Архива про пустых

было две строки: «Погашенному не служить, не судить, не вменять». Ни слова о том, как себя вести, если погашенный заговорит с тобой первым.

Я стояла над ним, наверное, с четверть часа, а может, дольше. Я дописала строку о новом амбаре для купца Свирида, поставила печать - крючком, который у меня зовётся «ярей», - задула свечу и пошла вниз, к ящику для приёма. Ящик этот вделан в дверь с улицы: опустишь прошение - утром его разберут. Вечером ящик всегда пуст. Я давно перестала его проверять, но рука сама потянулась.

В ящике лежал свиток.

Я застыла с рукой в прорези. Свитков в ящике приёма не бывает. Бывают прошения на бересте, бывают письма в конвертах из серой бумаги, бывают детские рисунки, которые матери опускают «на счастье». Свиток - вещь архивная. Свиток из ящика - всё равно что покойник из колодца.

Я вытащила его двумя пальцами. На вид - обычный: пергамент, скатанный в трубку, никакой гильзы, никакой бирки с номером. Я развернула свиток над столом и прижала края чернильницей.

Пергамент был пустой. Совсем.

Я поднесла его к лампе. Пустой пергамент - вещь в Архиве дурная, но объяснимая: бывает, гильза есть, а строка выцвела, если человек умер безвестно и никто о нём не вспомнил и словом. Но пустые свитки холодные. Этот был тёплый. Не «нагрелся в кармане» тёплый, а живой - как ладонь, которую только что сжали.

И пока я держала его над лампой, на пергаменте проступила буква. Одна - широкая, неровная, будто её вели углём по мокрой коже. Я успела разобрать, что это «Р» или, может, «В», - и буква растаяла, как снег на ладони. За ней проступила другая, третья - я склонилась ниже, задержала дыхание - и всё исчезло. Пергамент снова был пустой.

Я стояла над ним, наверное, с четверть часа, а может, дольше, если бы в Вельгоре мерили время четвертями. У меня стыли пальцы, чай совсем остыл, и мыши под полом притихли, будто тоже смотрели.

Пустой свиток нельзя внести в реестр - не за кем числить. Нельзя и выбросить: я не сумела бы объяснить Мелании Онисимовне, куда делся предмет, которого не существует. Я скрутила его обратно, сунула в карман кушака и решила, что утро вечера мудренее, тем более что смену я отстояла, а свечи были на исходе. В вельгорских записях о таких вещах писали коротко: «предмет необъяснённый, к делу не приобщать». Я сказала себе, что так и сделаю, и сама себе не поверила: руки у меня дрожали, как у девчонки перед экзаменом у дьячка Елифана, а он, по слухам, дрожал всегда, и все равно ставил лучшую руку в городе.

Я погасила лампы, обошла зал с рогожным фонарём, как положено по уставу, спустилась по сорока двум ступеням и отперла боковую дверь, которая выходит в переулочек за Тёплой башней. Там всегда пахнет дровами и мышеловками, потому что рядом жила вдова Шимковна, великая охотница на мышей.

Дверь я заперла. Повернулась - и увидела его.

Мужчина стоял у стены, в трёх шагах от крыльца, под жёлтым светом моего фонаря. Высокий, худой, в тёмном плаще, промокшем на плечах от тумана. Лет тридцати. Тёмные волосы стрижены коротко, как у писарей, на щеке - свежая ссадина. Он смотрел на меня так, как смотрят на воду в пустыне.

По переулочку, посапывая, прошли двое стражников с фонарём. Они прошли бы мимо кого угодно, но они прошли мимо него так, как проходят мимо бочки или стены. Даже не повернули голов. Фонарь качнулся, тень взбежала по стене - стражники свернули за угол, и их шаги затихли.

Я сделала шаг назад, к двери. В кармане кушака, сквозь ткань, я почувствовала локтем, вернее ребром ладони, - тёплый, живой свиток.

Мужчина поднял руки - ладонями вперёд, без всякой угрозы, - и заговорил. Голос у него был низкий, хриплый, как будто он долго не говорил, а потом решился.

- Ты меня видишь?

Я не ответила. Он кивнул сам себе, словно получил подтверждение чему-то, чего ждал целый год.

- Ты меня видишь, - повторил он уже тише. - Значит, не всё пропало.

И тут же поправился, деловито, как человек, у которого каждая минута на счёту:

- Не бойся. Я не приведение. Меня зовут Радим. А меня стёрли.

Глава 2. Тот, кого нет

Я не убежала, хотя ноги советовали. Наверное, потому что за семь лет в Архиве я начиталась столько страшного, что реальные страхи уже конкурировали с бумажными. И ещё потому, что он сказал «стёрли» без всякой жалости к себе - сухо, как говорят «промок» или «обморозил палец».

- Погасили свиток, - сказал он. - По приговору. Год назад, в Молчальный день. Я приходил сюда просить защиты ещё до того, как его погасили. Меня не пустили за порог. А после - смысла не было. Пустых за порог не пускают вовсе: двери Архива тебя просто не видят. Ступени есть, двери нет.

- Это невозможно, - сказала я. - Порог не пускает пустых, но...

- Но ты меня видишь, - согласился он. - Стоишь в дверях, держишь фонарь и видишь. Я год ходил по городу и проверял. Сотни людей прошли мимо. Двое стражников только что. А ты видишь.

- Памятливая, - сказала я нехотя. У нас так зовут тех, кто видит погашенных. Нас мало. Я знала двоих за всю жизнь: свечника Дорофея, умершего давно, и себя.

- Не знаю, как это называется. Я знаю, что в прошлую пятницу я стоял на Гончарной и смотрел, как моя соседка несёт воду. Я жил с ней в одном дворе шесть лет. Она посмотрела сквозь меня и отерла рукой плечо - сквозь меня, как сквозь туман.

Я молчала. В переулке капало с крыши, и туман подползал ближе, облизывал ступени.

При «пустых» у меня в Архиве было положено делать одну вещь: запись. «Случай усмотрения погашенного докладывать старшей хранительнице в трёхдневный срок». Две такие записи за мою службу были: обе - про свечника Дорофея, обе - рукой бабки, обе без последствий. Я стояла в переулке, чувствовала в кармане тёплый свиток и понимала, что заводу сейчас либо первую настоящую запись за семь лет, либо первую в жизни причину молчать. Туман подползал. Я стояла между ними, как между двух огней, и - вот уж не думала - выбрала огонь.

- Что вам нужно? - спросила я наконец.

- Мне нужно, чтобы кто-то открыл мой свиток, - сказал он просто. - Прочитал его. Хоть строчку. Пока его не спрятали совсем.

У меня в кармане кушака лежал пустой свиток, который был теплее, чем положено быть бумаге. Я сжала его через ткань.

- Пойдёмте, - сказала я, сама не веря, что говорю это. - Только не в Архив. В сарай, где леса для кровли. Там крыльцо пониже, а порог... посмотрим, кого пустит.

Сарай был тёплый, пах стружками и старым воском. Он сел на чурбак, я села на перевёрнутый ушат, между нами стоял мой фонарь, и в его жёлтом круге мы разговаривали до третьих петухов.

Радим, как выяснилось, был писарем податных списков при Тёмной думе. Одиннадцать лет писал он строки и цифры: столько-то дворов, столько-то душ, столько-то полушек оброка. Работа скучная, зато он говорил - честная: в списках не спрячешь ни двора, ни души.

- Двенадцатого числа Лютного месяца... то есть уже этой зимой, в самые крепкие морозы, я сводил две книги, - говорил он, глядя в фонарь. - Податную и приходную. Так вот, в податной за Заречной слободой числилось сорок два двора и сто восемьдесят семь душ. А в приходной за ту же слободу оброк принесло сто сорок восемь. Я думал - описка. Поднял зимнюю подать. Сто сорок восемь. Прикинул, кто мог умереть, уехать, продать двор. Тридцать девять человек не сошлись. Не разом, по одному, а так, будто их вынули из книги ложкой.

- Тридцать девять, - повторила я.

- Тридцать девять, - кивнул он. - Я пошёл с вопросом в думу. Вежливо, по форме, на листе с печатью. Через три дня меня вызвали в Тёмную залу, прочитали приговор - «за рас-

пространение смуты погасить» - и стража вывела меня под руки. А наутро пришёл я домой, и жена моя на пороге спросила, кто я такой и почему не пускаю её к детям. Дети стояли за ней и смотрели на меня, как на чужого.

Он сказал это без дрожи. Только руки у него на коленях сжались.

- Потом я понял одну вещь, - продолжил он. - Погашенный не исчезает. Он ходит по городу, ест, спит под мостом, если придётся. Но город его не видит и не помнит. И хуже того - время его не трогает. Я не постарел ни на день. У меня борода не растёт. Я как будто выпал из счёта.

Я вспомнила свечника Дорофея. Его видела моя бабка, ещё девочкой: он стоял у часовни и был молод, а старухи, знавшие его при жизни, крестились и шли прочь. Я думала - сказки.

- Ваша тетрадь, - сказала я. - У вас в сумке тетрадь. Я видела, как вы её прижимали, когда я отпирала дверь.

Он помедлил, потом достал. Тетрадь в кожаном переплёте, потёртом по углам, с медной застёжкой. Он раскрыл её и повернул ко мне.

На странице были каракули. Серые, вялые, петляющие - как если бы курица прошлась по листу лапками. Я приподняла лампу, сощурилась. Каракули. И только.

- Не читается, да? - спросил он. - Мне пишут руки помнят. А прочесть не может никто. Я показывал грамотному дьячку - он сказал, что листы пустые. Показал мальчишке из слободы - тот засмеялся и сказал, что я балуюсь. А там, - он коснулся страницы пальцем, - там все мои тридцать девять имён. По дворам, с возрастом, с приметами. Единственное, что от них осталось на свете.

- Дайте сюда, - сказала я.

Я взяла тетрадь, раскрыла наугад и прочитала вслух, медленно:

- «Селиван Прокопьев, двор пятый от моста, колёсный мастер, шестьдесят лет, левая нога короче правой».

В сарае стало очень тихо. Радим медленно поднял на меня глаза. У него дрогнули губы - первый раз за всю ночь он был похож не на человека с расписанными делами, а на человека, у которого просто отняли всё.

- Год, - сказал он хрипло. - Год я носил эту тетрадь по городу. И только вы...

Он не договорил. Я протянула ему тетрадь обратно, и он бережно, как ребёнка, закрыл её и застегнул медную застёжку.

- Где вы жили... живёте? - спросила я. - Теперь.

- Где придётся. Первый месяц я ночевал дома, на сеновалах, - смешно: ходишь по своему двору, а хозяйка выходит и кричит на чужого. Потом ушел за реку. Спал на мельнице, у угольщиков в сарае, зимой - в бане, на полке, где веники сохнут. Люди, которые не видят, они и не гонят особо: обойдёт их такое существо стороной, и всё. Только собаки, собаки меня чуяли всегда, и мальчишки - дети иногда провожали меня глазами, а потом мама за шкуру оттащивала. Год, - он усмехнулся. - Я выучил Вельгор с той стороны, с которой его не знает никто. Знаете, сколько в городе лестниц, которые соединяют чужие дворы? Семнадцать. Я все семнадцать обошёл.

- И не пытались уйти? В другой город.

- Пытался. Осенью дошёл до Трёх вёрст, до кордона. И дальше не смог. - Он повёл плечом.

- Ноги как ватные: город тебя не пускает. Я, понимаете, часть этого города, хотя город об этом не знает. Как сноп из общего стога: хоть выкинь меня, а внутри всё равно его солома.

- Хорошо, - сказала я деловым голосом, потому что иначе голос бы сорвался. - Ваш свиток. Надо найти ваш свиток. Если он не погашен совсем, а только заперт, я имею право его выдать... при определённых условиях. Имя?

- Радим. Радим Кожухов.

- Стойте здесь. Ни с кем не говорите, никуда не выходите. Меня спросят утром - я скажу, что пересчитывала стружки для переплётков. В Архиве каждый третий чем-нибудь пересчитан, меня не проверяют.

Я поднялась к себе, зажгла лампу и раскрыла реестр погашений. Пальцы у меня прыгали по страницам, как морозы по стёклам. «К». «Кожухов Радим, писарь податных списков». Вот.

Против имени стояла не обычная пометка «погашен по приговору», а другая, жирная, думской рукой: «погашен пожизненно. Гильза в изъятых. Вещь не выдавать. Д.».

Изъятые свитки хранились в закрытом хранилище под западной башней - туда имели доступ только старшая хранительница и думский пристав. Я закрыла реестр. И только теперь заметила, что под дверью хранилища, которая всегда была сухая как порох, по каменному полу расползается тонкая серая полоска.

Туман. Из-под двери хранилища в мой Архив сочится туман.

Глава 3. Молчальная пора

Утром я сказала Мелании Онисимовне, что пересчитывала стружки. Она подняла на меня свои серые глаза из-за описи, посмотрела секунды три - у неё было такое зрение, будто она читала не бумагу, а человека, - и кивнула. Про туман из-под двери я не сказала ничего. Днём от него не осталось и следа: пол был сухой, дверь заперта, ключи у пристава. Может, мне примерещилось. Ночами в Архиве многое примерещится, если до ужина не ешь.

Город тем временем готовился к Молчальному дню.

Молчальный день - 26-е Туманника, последний месяц осени. Готовятся к нему весь месяц, и город при этом делается какой-то деревянный, вежливый, притихший. На окнах завязывают белые ленты - от подоконника к раме, накрест. На рынках торговцы объясняются кивками и пальцами: в сам день не говорят вовсе, а в последние перед ним дни говорят, но как-то... вполголоса, будто экономят слова про запас.

Я вышла в полдень за воском и колотой свечой на Гончарную улицу. По дороге встретила штук пять лент, троих знакомых - и всем троим кивнула первой, потому что устала отвечать.

Город в Молчальную пору напоминал человека, который держит в себе чих. На Гончарной мальчишка лет шести запел во всю глотку - про серую утицу, - и мать закрыла ему рот ладонью, испуганно оглянувшись на окна. У колодца две бабы объяснялись молча, жестами, и жесты у них были богатые, что ни скажешь - целая речь. Дровокол у своего двора показал мне пальцем на небо и поднял воротник: то ли «похолодает», то ли «не сглазьте». Только чужак, зашедший с тракта, галдел на весь квартал и растерянно оглядывался: а что не так-то? А то не так, что в Вельгоре в Туманник слова берегут, как соль в дороге.

У пекарни Фроси пахло так, что можно было забыть любой устав. Фрося - круглая, быстрая, с руками в муке до локтей - выгребла из печи противень медовых завитков и заорала на меня через весь двор:

- Ярина! Ты живая вообще? Заходи, пока горячее!

- Живая, - сказала я. - Пахнет на весь квартал. У тебя что, субботняя выпечка раньше вышла?

- Молчальная! - гордо сказала Фрося. - На память города. Завитки медовые, раз в год пеку. Знала бы ты, сколько их разбирают на «помин души» - люди тащат их на кладбище, на могилки... - она осеклась, и по её лицу прошло что-то - быстро, как тень от облака. - Ну, то есть... по традиции. Не знаю даже, откуда традиция.

- Как - не знаешь? Ты же пекарь. Это твоя главная выпечка в году.

- И то правда, - Фрося наморщила лоб, прислушиваясь к себе. - Бабка пекла. А бабке её мать сказала... А дальше - пусто. Яри, странно. Как будто слово забудешь на середине, и всё, оно с концами.

Она пожала плечами и сунула мне завиток, горячий, сквозь тряпицу. Я укусила - мёд, калёное масло, чуть-чуть горечи. Вкус был знакомый до слёз, и я не смогла бы сказать, откуда: будто вспоминала не разумом, а языком.

- Дай вторую, - сказала я.

- Себе? - удивилась Фрося. - Ты же их не ешь. Ну, то есть... не ешь разве? - Она осеклась, и мы посмотрели друг на друга с одинаковым чувством: как будто оба вспомнили, что кто-то из нас когда-то это любил, и никак не могли решить, кто именно. Второй завиток я завернула в платок и понесла через весь город - сама не зная куда, - а к вечеру он лежал на подоконнике моей комнаты под самой кровлей, чёрствый, с надкусанным боком, и я смотрела на него, как на письмо без адреса.

Про «ту зиму» я спросила Фросю аккуратно, издалека - как учили нас не задавать вопросов. Спросила про цену на дрова. Фрося ответила про дрова гладко, вполголоса, как все. У

меня сложилось за эти дни впечатление, что весь Вельгор выучил одну и ту же книжку наизусть: дрова дороже, ленты завяжи, не грузи.

Дома, если можно назвать домом комнату под самой кровлей Тёплой башни, я села у окошка со свечой и долго смотрела на маленький медный горшочек с чабрецом на подоконнике.

Моя мама, Авдотья, умерла три года назад - зимой, простудилась на ярмарке, когда возила по домам пироги. Я тогда была в отъезде, на ярмарке в Капорье, покупала воск, и письмо шло ко мне одиннадцать дней. Я вернулась на похороны. Мама лежала в сосновом гробу, у неё были её руки, её лоб, её подбородок с ямочкой, - а вот голос я уже тогда не могла вспомнить. Совсем. Как будто вынула его и куда-то положила, а куда - забыла.

Я тогда решила: горе. Горе так действует, у всех так. Три года прошло, а голоса нет, зато остался запах - чай с чабрецом, крепкий, с колотым сахаром, который мама грызла щепками. Запах я помнила каждый день. Он был у меня в чайнике, в комнате, в самих стенах.

Мама оставила после себя три сундука, дюжину форм для пирогов и тетрадь в клеёнке, куда она пятьдесят лет записывала всё: кто в деревне чем болен, что в этом году уродилось у смородины, сколько муки на кулебяку на сорок человек. Я эту тетрадь читаю до сих пор, по строчке в неделю, берегу её: там её рука, с наклоном вправо, и пометки на полях «не давать Ярке сырую калину». Умерший человек в бумагах живёт - я это знала лучше всех в городе, я в этом работала. А вот как живёт умерший человек в запахах, я узнала только теперь, когда запаха не стало.

Теперь я сидела над горшочком с чабрецом и, осторожно, на цыпочках, - пошла за запахом. И не нашла его. Горшочек пах травой. Просто травой. Как из лавки.

Я сидела очень прямо и очень долго. Свеча наплакала огромную слезу и погасла. Я сидела в темноте.

Если бы я тогда знала, что буду платить запахами и голосами, я бы, может, и не полезла ни в какие тайны. Но я ещё ничего не знала, а только чувствовала себя так, будто из моего дома вынесли самую тяжёлую мебель, и комната от этого стоит пустая и гулкая.

Внизу, в Архиве, горел ночник, и я спустилась туда - не работать, а так, греть руки у печи.

По дороге я сделала то, что делала каждую ночь уже неделю, сама не замечая, как завелась эта привычка. Я шла вдоль полок и клала ладонь на гильзы. Вот так: идёшь медленно, рука скользит по лаковым бокам, и каждый свиток под ладонью - прохладный, гладкий, спокойный, как речная галька. Холодный свиток - здоровый свиток: так у нас говорят, так меня учили. Я проверила за вечер сотни четыре и успокоилась - и тут же рассердилась на себя, потому что не знала, чего именно ищу. Тёплого? Тёплых не бывает. Бывает каменная, полная тишина погашенных - но погашенные лежат не здесь, а в изъятых, за приставской дверью, куда моей руке хода нет.

Заодно я решила всё-таки глянуть подшивку городских ведомостей за ту зиму. Заодно я решила всё-таки глянуть подшивку городских ведомостей за ту зиму. Ведомости - это толстые тетради, куда приказчики вносят всё важное: ярмарки, пожары, наводнения, налоги. Мне был нужен не пожар - мне была нужна сама хронология, чтобы понять, когда именно из приходных книг выпали тридцать девять человек.

Тетрадь за Лютый месяц была на месте. Я раскрыла её на середине - и у меня похолодели руки.

В корешке, там, где листы подшиты суровой ниткой, торчал обрывок бумаги. Кто-то вырвал из ведомости лист, и вырывал наспех, не по-архивному: нитка лопнула, на обрывке остался рваный край, и край этот был обуглен. Не вырван - обожжён. Бумага сгорает в Вельгоре по-особенному, если в ней чьё-то имя: я это знаю по работе, мне однажды приносили обгоревший купчий лист, и он дымился синим.

Я вытащила обрывок ногтями. На обрывке - половина строки, писарская рука, наклон вправо:

«...ветром понесло на слобо...»

И всё. Ни даты, ни подписи. Подпись соскоблена - соскоблена старательно, с нажимом, до дыры.

Я сидела на полу между полок, держала обгоревший клочок двумя пальцами и слушала, как стучит моё сердце. «Понесло на слобо». В Вельгоре одна слобода - Заречная, за мостом. Слобода горела?

Когда горела? Почему я не помню никакого пожара?

Я поднялась, сунула клочок во внутренний карман, там, где ношу деньги, - и тут в читальне, за спиной, скрипнула половица.

Глава 4. Тридцать девять имён

На половице скрипел Митя - думский сторож, который носит нам хлеб и дрова по утрам и не умеет входить тихо, как медведь в посудную лавку. Я сказала ему «добрый вечер» таким ровным голосом, что он обиделся. Обрывок я потом перекладывала из кармана в карман, как носят больной зуб: и мешает, и выбросить жалко.

Радим ждал меня в сарае с лесами в тот же вечер. Я принесла ему горячих пирожков от Фроси и обрывок ведомости.

Он взял клочок, поднёс к глазам, повертел, понюхал - и у него дрогнул уголок рта. Первая улыбка за две наших встречи, кривая и горькая.

- Это моя рука, - сказал он. - Чувствуете нажим? Я всегда с нажимом писал, дьячок меня ругал: «Кожухов, ты бумагу калечишь». Это я переписывал ведомость той зимы. Я тогда ещё не знал ничего, просто подчищал за приказчиками, и вот - «понесло на слободу». Копоть на краю - это когда я лист выхватывал. Из огня? Нет. Я тогда не был в огне. Это меня... гасили. При мне держали лист моего имени над свечой. Не сожгли - попугали. А бумага с именем - она живая, она тогда кричит. Я не смог... я дёрнулся, лист клюнул краем в пламя. Вот и копоть.

Он свернул обрывок и вернул мне. Я спрятала его обратно во внутренний карман.

- Расскажите про тридцать девять, - попросила я. - Всё, что в тетради.

Он раскрыл тетрадь на первой странице и читал - не я, а он, сам, по своим «каракулям», которых сам, видно, видел, а я видела только когда держала лист в руках. Странное дело: когда тетрадь лежала у него на коленях, я видела каракули; стоило мне взять её себе - буквы вставали в ряд. Память города привязана к рукам, что ли.

- Селиван Прокопьев, колёсный мастер, шестьдесят. Прасковья, вдова, двор седьмой, тридцать восемь лет, пекла пироги с калиной на всю слободу. Дуняшка, девочка четырёх лет, дочь прачки. Старик Пантелей, банщик... - Он читал и сбивался, не на именах - на приметах: у него к приметам были привязаны лица, голоса, привычки, я чувствовала это по его дыханию. - ...Марк, подёнщик, был в полону у ордынцев, выкупился, хромым. Софон, приказчик Соляного ряда...

- Стой, - сказала я. - Приказчик? Приказчик Соляного ряда - в списке погибших слободы? С чего бы приказчику жить в слободе?

Радим перевернул страницу, и я увидела, что у некоторых имён на полях стоят крестики - его собственные пометки, мелкие, честные.

- Дальше читайте, - сказал он. - Степанида, прачка, двор у баньки. Марк, подёнщик... Они все тут, читайте. Я год с этой тетрадью спал, я её под подушку клал. Хотите по-настоящему страшное? Между Селиваном и Прасковьей - пустая строка. Я оставил её сам: там был ещё один человек, а чей он - не помню. Рука помнила, что строка была, а имя - вынуто у меня из под пера. У меня, Ярина, у меня из тетради имена вынимали.

- А вот с этого, - Радим поднял на меня глаза. - Он и не жил. Я его вычислил по спискам расхода воска. Софон в зимние месяцы закупал у свечника Дорофея по фунту воска в неделю - для личной печати. Приказчикам положена сальная свеча, восковая - роскошь. Я копал и копал, а потом спросил у моста старьевщика, тот мне и сказал: Софон этой зимой утонул в Тихаве. Пьяный, говорят, упал с моста. Только вот пьющий Софон - это я тоже проверил - за пять лет ни разу не был замечен... А через неделю после его похорон из податных списков начали выпадать люди.

Мы сидели молча. В сарае было темно и пахло стружками; где-то далеко, за рекой, лаяла собака.

- Тридцать девять человек, - сказал Радим тихо. - Я одиннадцать лет писал чужие имена в столбцы. Я думал, бумага - она мост. Пишешь - соединяешь. А тут я понял, что бумага - она ещё и стена. Вычеркнуть - всё равно что убить, только хуже: убитого хоть помнят.

- Их что - сожгли? - спросила я. У меня самой рот был сухой.

- Я не знаю, - сказал он. - Я знаю, что за одну зимнюю ночь слобода похудела на тридцать девять душ и сорок два двора стало тридцать восемь. Я знаю, что нет ни сорокоуста, ни поминок, ни крестов. И я знаю, что в ту же зиму на Соляном ряду подняли новые амбары - там, где раньше были огороды слободы.

- А люди? Соседи? Они же видели - огонь, такое не спрячешь.

- Видели, - сказал он. - И ходили теперь мимо пустого места и недоумевали: а ведь здесь будто что-то было? Я сам ходил. В марте пришёл в слободу - у меня там леченых было полдвора. Стою на улице, а из дома напротив выходит женщина, у которой я три года кашель лечил. Смотрит на меня, как на зиму: «Чего стоишь-то, милоч, двор-то пустой стоит». Пустой, говорит. Там, где горело, - пустое место, все обходят, кошки не ходят. А что горело - она не сказала. Она сказала: «А чего там у нас было? Прости, не соображу. Пустое место». И пошла с коромыслом, и вода у неё из вёдер не плескалась - я потом на льду эти капли видел: ровные два ряда, как по линейке.

Мы договорились встречаться через день: он будет читать мне тетрадь, я буду проверять по реестрам и подшивкам, кто из тридцати девяти числился в Архиве. Свитков, как я ни искала, не было: гильзы, должно быть, все ушли «в изъятие».

Я шла домой через Большой мост в половине одиннадцатого вечера. Туман с Тихавы поднялся по берегам, мост висел в нём, как переправа в молоке. Фонари на мосту горели редко - каждый третий, и свет у них был не жёлтый, а какой-то липкий.

На середине моста мне стало по спине холодно. Обернулась - в двадцати шагах, у перил, стоял человек. Стражник: тёмный плащ, шлем. Бляха на груди у него не блестела - вообще. Как будто металл помнили до блеска, а света он не отдавал. Стражник не двигался и не дышал - то есть дышал, я видела пар, но вразнобой, как будто он забывал, зачем это делает.

Я пошла дальше, не бегом - быстро. Пятнадцать шагов. Десять. За перилами, внизу, в тумане, что-то шевельнулось, большое и мягкое, как плечо под одеялом.

- Ярина.

Сотник Твердилко - широкобокий, с рыжими усами, вечный сотник мостовой стражи - вышел из-за будки и снял шлем. Он всегда со мной здороваётся, потому что его племянница ходит к нам в Архив за выписками.

- Сотник, - сказала я и обрадовалась ему так, как не радовалась никому.

- Поздно гуляешь, девка, - сказал он. И посмотрел не на меня. За мою спину. - Ты с кем говорила по дороге? Я из будки видел: идёшь - и с кем-то рядом, под руку, будто.

У меня внутри всё стало холодное и звенящее.

- Ни с кем, - сказала я. - Мурлыкала песню.

Твердилко посмотрел на меня, на туман, снова на меня. Рыжие усы его дёрнулись.

- Песню, - повторил он. - Ну-ну. Иди, Ярина. А то туман нынче густой, слобода-то тихая стала, не слышать ничего за ним.

Я уже сходила с моста, когда он окликнул меня ещё раз - уже обычным, дневным голосом, будто и не было всей этой странности:

- Ты Архиву-то скажи: мост в Туманник я промываю каждую пятницу. По два часа. Кто ночью над водой будет - тот меня в известность. - И добавил тише, совсем не стражным голосом: - В эти ночи над водой лучше не стоять, девка. Даже с песней.

«Даже с песней». Я потом долго крутила в голове эти три слова. Известие, не стоять, с песней - всё как будто обычное, а суммарно - как записка, которую нельзя показывать. Сотник Твердилко, тридцать лет службы, рыжие усы, племянница в Архиве, - и в его будке на мосту

я потом заметила высеченный на косяке кружок: маленький, старый, потёртый ладонями, как икона в придорожной часовне. Такие кружки раньше ставили против тумана. Сто лет назад.

Он повернул слово так неуклюже, будто сам споткнулся о него. «Слобода». Он хотел сказать «мостовая». Я пошла к своему берегу, не оборачиваясь, и чувствовала спиной: стражник у перил смотрел мне вслед, а туман внизу, под мостом, ходил медленными кругами - как вода, когда под ней что-то большое поворачивается на другой бок.

Глава 5. Уроки старшей

Наутро меня вызвали к Мелании Онисимовне.

Кабинет старшей хранительницы был на первом этаже, окном в двор, где сушились травы. Там всегда пахло полынью сильнее, чем в залах, и стояла тишина особого сорта - кабинетная, под которой хотелось говорить шёпотом.

- Садись, Ярина. - Она не подняла глаз от описи. - Твои стружки. Семьдесят три куска, я пересчитала. Ты их пересчитывала два часа?

- Я ещё читальню проверяла.

- Читальню, - повторила она. - И ведомости, - она отложила перо и посмотрела на меня.

- Ночью в читальне горела свеча, я видела свет из окна. За зимние ведомости ты взялась не от скуки. Кто тебе заказал?

- Никто, - сказала я. - Я изучаю хронологию приходных книг. Для упражнений.

Мелания Онисимовна молчала так долго, что я услышала, как в дворе упало ведро. Потом она встала, заперла дверь на крюк и опустила на окно рогожную штору.

- Год назад, - сказала она, - перед Молчальным днём, ко мне в этот кабинет приходил молодой писарь из думы. Грамотный, вежливый, с глазами, как у бродячей собаки. Спрашивал про изъятые свитки. Просил показать ему реестр погашений за тридцать лет. Я его отчитала, пригрозила приставом и выпроводила. Через три дня его погасили.

У меня по спине пошёл холод.

Писарь. Молодой, вежливый, с глазами, как у бродячей собаки. Год назад. Она отослала его - и не предупредила. Я смотрела на старуху за столом и видела, как эти тридцать лет лежат у неё на плечах: не как годы - как мешки. И ей, выходит, было что терять. Я всегда думала, что Мелания Онисимовна такая сухая от природы. Оказывается, её просто всю жизнь полоскали, как бельё, - и не выстирали, а вынули из неё лишнее, то мягкое, от чего люди гнутся.

- Радим Кожухов, - сказала я.

- Ты знаешь его имя, - ровно сказала Мелания Онисимовна. - Из реестра, - она подняла руку, не давая мне говорить. - Не перебивай. Слушай, потому что второй раз я этого не скажу. Что ты знаешь про плату?

- Плата?.. Это когда вписываешь в свиток. Новую строку, рождение, смерть. Платишь пошлину полушками.

- Это пошлина, - сказала она. - А есть плата. Когда хранитель вписывает в живой свиток имя погашенного - возвращает человека городу, - плата берётся не полушками. Памятью. Твоей собственной. За букву - по кусочку. За имя - по дневнику, по месяцу. Кому-то отпустит голос матери. Кому-то - вкус хлеба. Никто не знает заранее, что у тебя вынут. Знают только, что вынут навсегда.

- А если вписывать не в свой свиток? - спросила я.

- В Книгу города, хочешь сказать. - Она посмотрела на меня искоса. - В Книгу вписывает только хранитель с ключом, и плата там вполтину: Книга - общая, город платит вместе с тобой. Но, Ярина, в Книге имена видит всякий, кто прочтёт. В свитке - один человек, а в Книге - весь Вельгор. Ты вписываешь туда имя - и город начинает задавать вопросы: а где же этот? а почему его нет? дума таких вопросов не любит. Тридцать лет в этом городе никто не задавал вопросов, и мне не хотелось бы, чтобы ты начала первой, - Мелания Онисимовна сняла очки и протёрла их полкой. - Хотя, вижу, уже начала.

Я сидела очень прямо.

- Кто вам сказал про писаря? - спросила я.

- Никто. Я вижу. У тебя под кушаком оттопыривается пустой свиток, ты ходишь, как воровка, и носишь по ночам свечу в читальню. А ещё, - она вздохнула, и в этом вздохе было

столько усталости, сколько не бывает у молодых, - я видела тебя на мосту. Вчера. С пустым. Разговаривала через перила, как с живым.

- Он и есть живой.

- Он - погашенный, - отрезала она. - Это всё, что о нём теперь можно сказать. Хочешь знать, что бывает с теми, кто пытается пустых возвращать? Я скажу. Тридцать лет назад я была такой же глупой девкой, как ты, только без места. Я вписала в свой девичий свиток имя человека, которого погасили за то, что он не подписал думскую бумагу. Звали его Аверьян, у меня была любовь, у меня была глупость. Я вписала одно имя, Ярина. Одно. И проснулась утром, не помня, как звучит голос моей матери. К вечеру я не помнила её лица. К весне у меня не осталось ни одного воспоминания о её существовании. А человека, чьё имя я вписала... - она помолчала. - Его всё равно погасили обратно. Через полгода. И вторую плату у меня уже не спросили, потому что платить было нечем: я к тому времени не помнила даже, зачем завела этот свиток.

В кабинете было очень тихо. Я слышала собственную кровь.

- Ваш муж, - сказала я. - Аверьян. Тот самый.

- У меня нет мужа, - сказала Мелания Онисимовна ровно. - Никогда не было. Спроси любого в Вельгоре - и мне самой на этот счёт очень спокойно. Память - она такая, Ярина: дырку в ней залатаешь памятью же, и не помнишь, что там была дырка. Вписанный человек живёт - где-то, как-то, время его не трогает. А город про него не знает. И это милосердие, поверь.

- И вы мне это говорите после того, как сами...

- Я говорю тебе это, потому что ты на мосту разговаривала с пустым при страже, - она перегнулась через стол и взяла меня за запястье. Пальцы у неё были сухие и сильные. - Год назад я отослала писаря и не предупредила его ни словом. Я была трусиха, и я расплачиваюсь этим каждую ночь, когда мне снятся документы, которых я не выдала. Второго раза мне не дано. Тебе тоже, если ты сейчас же...

Она не договорила. За дверью послышались шаги - двойные, приставские, - и Мелания Онисимовна разжала пальцы, подняла штору и заговорила о чем-то о воске, громко и скучно. В дверь постучали: думский пристав принёс опись изъятых за квартал.

Пристав был сухой человек с бумажным лицом: такое лицо, кажется, если его намочить, на нём проступят графы. Он поклонился ровно настолько, насколько положено кланяться старшей хранильнице, положил на стол опись, придвинул её пальцем и сказал:

- К пятнице, Марья Онисимовна.

- Мелания, - сказала она.

- К пятнице, - согласился он без всякого выражения.

Бумаг он не выпускал из рук ни на секунду: опись, копия описи, свод копий. Я потом спрашивала себя, что держит в руках человек, который приходит в Архив, где бумаги - стены, пол и воздух. И поняла: он держит бумагу, как держат повод. Все в этой комнате - и я, и Мелания Онисимовна, и восковые кольца на столе - были привязаны к этой описи, и пристав чувствовал себя здесь кучером.

Пока он стоял в дверях, я посмотрела поверх его плеча на опись. Столбец имён, даты. Против строки «Кожухов Радим» - отметка: «гильза вскрыта, содержимое проверяется». Проверяется. Уже год.

Когда пристав ушёл, Мелания Онисимовна долго стояла у окна, потом сказала, не оборачиваясь:

- Слушай меня, глупая девочка. У них есть место. Полка без полки. В западном хранилище, за стеллажом с приходными книгами, там ходовая доска. Туда складывают то, о чём думе лучше не помнить. Если тебе дорог твой запах чая и голос твоей матери, живи дальше и не подходи к этой доске. Я старая, мне терять нечего, у меня всё уже вынуто.

- А если мне не всё равно? - спросила я.

Она повернулась. У неё были очень усталые, очень серые глаза.

- Тогда, - сказала она, - прежде чем вписывать хоть одну букву, приди и покажи мне этот свиток. Я хочу на него посмотреть. Гильзу Кожухова я проверила этим утром. В гильзе - пусто. Свиток из неё вынули. И я в этом Архиве не выносила.

Мы посмотрели друг на друга. Значит, свиток, который лежал у меня под кушаком, тёплый и живой, - кто-то вынес из хранилища и подбросил ко мне в ящик приёма. Кто-то, кто умеет ходить незамеченным даже там, где стоят приставы.

- Значит, у нас в городе завёлся вор, - сказала я.

- У нас в городе, - сказала Мелания Онисимовна, - тридцать лет завелось нечто пострашнее вора. А свиток... свиток меня пугает меньше всего. Иди работай. И вот ещё что. - Она села за стол и снова взялась за перо, но написала одно слово и замерла. - Если решусь - сделай это до 26-го. В Молчальный день не вписывают. В этот день город глухой.

Глава 6. Первая буква

Три дня я не спала и думала. Днём вписывала новорождённых, отпускала выписки, отвечала на расспросы о свечах - у нас в Архиве полдня уходит на то, чтобы объяснить людям, что воск не покупают у хранителей. Ночью сидела с Радимом в сарае с лесами, и мы составляли список: что нужно, в каком порядке, какие имена идут первыми.

- Первым вписываешь меня, - говорил Радим. - Потом, когда я снова стану видимым, я сам дожду думу. Списки у меня сохранены, свидетели есть.

- Тебя вписывать самой больнее всего, - сказала я. - Имя полное: Радим Кожухов. Восемь букв.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.